Максим Горький

«Страсти-мордасти»

Часть сборника
На дне. Избранное (сборник)

Annotation

«Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидал странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, – топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовала со словом ёмкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью…»

- Максим Горький
  -

Максим Горький
«Страсти-мордасти»

Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидал странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, – топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовала со словом ёмкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась – пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

– Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

– Дьявол, – бормотала она. – Не пойду! Проживу без тебя… поживи без меня… Караул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

– Кто скандалит?

Я сказал ему, что – боюсь, не утонула бы женщина в грязи и вот хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

– Машка – вылазь!

– Не хочу.

– А я те говорю – вылазь!

– А я не вылезу.

– Вздую, подлая, – не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: – Это – здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

– Начальники! Я сама себе начальница… Захочу – купаться буду…

– Я те покупаюсь, – предупредил ее сторож, бородатый крепкий старик. – Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней –

сын безногой…

– Далеко живет?..

– Убить ее надо, – сказал сторож, не ответив мне.

– Отвести бы ее домой, – предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжко топая сапогами по липкой земле.

– Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

Как по-о мор-рю…

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью – отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня:

– Ну – бей, бей! Ничего – бей… Ах ты, зверь… ах ты, ирод… ну – бей!

Приставив ее к забору, я спросил – где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидал, что переносье у нее провалилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

– Ладно, идем, – сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

– Идем, милый, – ворчала она, как будто трезвея. – Я тебя приму… Я те дам утешеньице…

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленниц дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

– Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая расползавшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

– Мамка, – ты? – спросил во тьме тихий голос.

– Я-а…

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову.

Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

– А кто же придет к тебе? Я-а, – говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

– Утешеньишко мое, – сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол, – там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами, – личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

– Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

– Ее надо раздеть, – сказал я.

– Так раздевай, – отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки – он спросил тихо и деловито:

– Огонь-то – погасить?

– Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной – печатными буквами – надписью:

ОСТОРОЖНО

Т-во Н. Р. и К».

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в

углу, из глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

– Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

– Теперь – гасить лампу?

– Как хочешь.

– А ты – уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

– С ней.

– Зачем? – спросил я глупо и удивленно.

– Сам знаешь, – сказал он страшно просто и, потянувшись, добавил: – Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня – чело уродливой печки, на шестке – грязная посуда, в углу – за ящиком – куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

– Можно посидеть с тобой? – спросил я мальчика.

Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

– Она ведь до утра уж не проснется.

– Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

– Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет…

Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

– Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая всё равно…

Теперь я рассмотрел его глаза, – они действительно мохнаты, ресницы их удивительно длинны, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых рыжеватых волос. Неописуемо выражение его глаз – внимательных и спокойных, – я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

– У тебя – что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

– Вот какие ноги. Обе такие, с роду. Не ходят, не живут, а – так себе…

– А что это в коробочках?

– Зверильница, – ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в

тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил: – Хошь – покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

– Гляди, – не открывай, а то – убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

– Шевелится кто-то…

– Ага! Это – паучишка там сидит, подлец! Его зовут – Барабанщик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом – к моему и оживленно рассказывал:

– А тут – таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это – муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а – чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это – черный таракан, большущий, – Хозяин; он – ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь – жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он – странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его – Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников – сколько хочешь, как мух, даром что безносая.

– Она тебя не бьет?

– Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну, – на нашей улице – все пьяницы. Она – красивая, веселая тоже… Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь» – а она хохочет. Баба, ну и – глупая! А она – хорошая, вот проспится – увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза всё более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

– Хорошая зверильница? – спросил мальчик с гордостью.

– Очень.

– Бабочков нету вот у меня, – бабочков и мотыльков!

– Тебя как зовут?

– Ленька.

– Тезка мне.

– Ну? А ты – какой человек?

– Так себе. Никакой.

– Ну, уж врешь! Всякий человек – какой-нибудь, я ведь знаю. Ты – добрый.

– Может быть.

– Уж я вижу! Ты – робкий, тоже.

– Почему – робкий?

– Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

– А почему все-таки робкий?

– Вот – сидишь со мной, значит – боишься ночью-то идти!

– Да ведь уж – светает.

– Ну, и уйдешь.

– Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

– Зачем?

– Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

– Валяй! К нам все ходят…

Вздохнув, он сказал:

– Обманешь.

– Ей-богу – приду!

– Тогда – приходи. Ты уж – ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты – давай дружиться со мной, – ладно?

– Ладно.

– Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе – сколько годов?

– Двадцать первый.

– А мне – двенадцатый. У меня – нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит… Ты – вор?

– Нет. Почему – вор?

– У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один – Сашка, дурак и злой, а другой – Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

– Принесу.

– Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь…

– Почему?

– Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, – любит мужчинов, шкуреха, – просто беда! Она – смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась – родила меня и сама не знает – как! Ты – когда придешь?

– Завтра вечером.

– Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруешь?

– Баварским квасом торгую.

– Ой ли? Принеси бутылку, а?

– Конечно – принесу! Ну, я пошел.

– Валяй. Придешь?

– Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая жесткая борода – в ней светились белые зубы, – казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо – голубое и розовое, – эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфект и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза, – при дневном свете они были еще чудесней.

– У-ю-юй, – заговорил он низким, не ребячьим голосом, – сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это, – богатый, а плохо одетый и, говоришь, – не вор? Вот так коробочки! Ую-юй, – даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там – кто? Юх, – жучишко-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, черт… А – выбегут да улетят? Ну уж…

И вдруг весело крикнул:

– Мамк! Слезь, вымой руки мне, – ты погляди, курятина, чего он принес! Это – он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя,

как будочник, – это он всё! Его тоже Ленька зовут…

– Спасибо надо сказать ему, – услышал я сзади себя негромкий странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

– Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, – невольную, нестираемую улыбку.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте, – повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но – бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки, – ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

– Убег, стой, – убег! – закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

– Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

– Эдаких – много!

– Не задави, – строго предупредил ее сын. – Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

– А ты забудь про то, утешеньице мое.

– Уж я хоронил-хоронил…

– Я же тебе сама и наловила их после.

– Наловила! Те были – ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище… Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый…

– Ах ты, утешеньишко мое милое, – сказала женщина, поглаживая

кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами: – Хорош сынок? Глазки-то, а?

– Ты возьми один глаз, а ноги – отдай, – предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. – Какой… железный! Толстый. Мам, он – на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, – помнишь?

– Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

– Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я – сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» – «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено, – длинная веревища да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и всё поглаживая его.

– Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это – через стену перелезать; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, – поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали…

– Уж ты у меня хохотать любишь, – сказал мальчик тоном старшего. – А вот самовар бы поставила…

– Так сахару же нету у нас.

– Купи поди…

– Да и денег нету.

– Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот…

Он обратился ко мне:

– У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый, и скрылась за дверью, напевая в нос.

– Мамка! – крикнул сын вслед ей. – Вымой окошко, ничего не видать мне! Ловкая бабенка, я тебе скажу! – продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, – полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. – Работница… как начнет паклю щипать – хоть задохнись, такую пылищу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и всё! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит…

Послушав немножко, я сказал:

– Очень похабная песня.

– Они все такие, – уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся. – Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня…

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака, – Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

– Р-рвань!

– Сними, – сказал Ленька, вздыхая, – прогнали…

Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

– Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, – ты чертей видал?

– Нет.

– И я тоже. Я, ночью, всё в подпечек гляжу – не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

– А на что тебе их?

– Интересно. Вдруг один черт – добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребе, – испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

– Я люблю даже – страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так

оно вверх корнями росло, – листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то – мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то – дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновницына кошка бежит…

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

– Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то – Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и всё. А – слушай-ка: если таракана всё кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

– Если хорошо кормить – вырастет!

– Ну да! – радостно вскричал он. – А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

– Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади – верно?

– А что ж? Можно!

– Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

– Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, – если он – с лошадь, так он сильный! Верно?

– Только вот усы у них…

– Усы не помешают, они – как вожжи будут, усы! Или – паук ползет – агромадный, как – кто? Паук – не боле котенка, а то – страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

– Бывал, как же!

– Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротишко открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи – бутылка водки.

– Вот она – я!

– Ло-овко, – вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. – Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то – издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! – обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

– А ты – не ругайся, не надо! Ты еще маленький…

– «Не ругайся»! Тебе – хорошо, ходишь куда хошь, как собака всё равно. Ты – счастливая… Слушай-ка, – обратился он ко мне, – это бог сделал поле?

– Наверное.

– А зачем?

– Чтобы гулять людям.

– Чистое поле! – сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. – Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их, – гуляй, домашние! А – слушай-ка! – бога делают где – в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, – опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

– О, – чтоб те… о господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, бога-то – богомазы… ой, смехота моя, чудашка…

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

– Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

– Пускай смеется, – сказал я, – это тебе не обидно!

– Нет, не обидно, – согласился Ленька. – Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она всё забывает…

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

– Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он – утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы…

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

– Ты – дурак?

– Не знаю. А что?

– Мамка говорит – дурак!

– Так ведь я – почему? – воскликнула женщина, нимало не смущаясь. – Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а – сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у – какой…

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые, – тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и – веселая насмешка.

– Ну, давайте чай пить, – предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром, – мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

– Вырасту большой, – говорил он, – сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.

– Охо-хо, – вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. – Раем видит поле-то, милый! А там – лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

– Врешь, – остановил ее Ленька, нахмурясь. – Спроси-ка его, какое оно, он видел.

– А я – не видала?

– Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

– Наелся, напился, – даже спать захотелось, ей-богу…

– И усни, – посоветовала мать.

– А он – уйдет! Ты уйдешь?

– Не бойсь, я его не пущу, – сказала женщина, толкнув меня коленом.

– Не уходи, – попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери: – Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы, – а то валандаешься зря со всяким… только бьют… А он – добрый…

– Спи знай, – тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

– Он – богатый…

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

– Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе – распутная! А – что ж? Мне стыдиться некого. К этому же – видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

– Да. Очень!

– Не налюбуюсь. Умница ведь?

– Мудрец.

– То-то! Отец у него – барин был, старичок; этот – как их зовут? Конторы у них, – ах ты! Бумаги пишут?

– Нотариус?

– Вот, он самый! Милый был старичок… Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

– Вдруг – помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол, – только и житья! Вы – квасом торгуете?

– Квасом.

– От себя?

– От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

– Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

– Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

– Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы…

– Надобно мне идти, – сказал я.

– Куда? – удивленно спросила она.

– Дело есть.

– Останьтесь!

– Не могу…

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

– А то – останьтесь. Я рожу-то платком прикрою… Хочется мне за сына поблагодарить вас… Я – закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи, – так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее – детские глаза на безобразном лице – улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

– Мамка, – вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись, – ползут! Мамка же… иди-и…

– Приснилось, – сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился, – из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,

Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

1917